



## ПРИЗМА

*Ирина Дмитриевна Дюгаева родилась в Оренбурге. Учитесь на факультете иностранных языков Оренбургского государственного педагогического университета. Свой писательский путь начала сравнительно недавно: её первая повесть «Кумир» вышла в 2019 году. Став стипендиатом Министерства культуры России, в июле 2020 года при содействии Союза российских писателей выпустила повесть «Мистическая сопричастность». Победитель Всероссийского семинара-совещания «Мы выросли в России» в номинации «Проза» (2021).*

Линзы папа всё-таки купил мне, хотя мама и отговаривала его, кричала, что я притворяюсь, что я вижу лучше всех на свете, что я маленькая актрисулька-симулянтка и что мои лживые запросы надо гнать прочь, и ещё что-то про дочь...

Я не знаю, чем это заслужила. Когда впервые пожаловалась, что зрение садится, и мать раскидала злобные крики по всей квартире («Ты нарочно! Ты просто голову морочишь! Ничего тебе не нужно, только меня достать!»), я смиренно умолкла, сделала вид, что ничего не говорила, и ушла в комнату.

Пока мать причитала («Только всё налаживается, только я на ноги встаю, а ты опять-опять! Всё время... всё время!»), папа тихо приоткрыл дверь в мою комнату. Пасмурно хмурясь, переступил порог, двинулся, как грозовая туча, предвещавшая проливной дождь. На его первый же вопрос, чуткий и извиняющийся («Как давно стала плохо видеть?»),

я разрыдалась, заслоняя лицо, кусая ладошки, чтобы не было слышно всхлипываний — это разобидело бы мать.

Какое-то время папа гладил меня по спине ладонью, тёплой и мягкой. Когда я чуть поуспокоилась и сбивчиво, парой штрихов обрисовала всю картину («Уже год... плохо вижу... а щас вообще... не различаю буквы»), он ушёл к маме. После пролитого дождя слёз стало легче дышать, но я сжалась сильнее, ожидая, чем всё разрешится.

Папа вернулся с мамой.

— Пойдёшь, проверишь зрение в поликлинике, — сурово вынесла она, стреляя виноватым взглядом по стенам и углам комнаты, избегая смотреть на меня.

В тот же день, как только мама ушла в магазин, я неслышно подошла к папе, пока он сидел в зале с ноутбуком на коленях (выудил минуту покоя), призналась, что я уже ходила в поликлинику, у меня минус два. Папа вздохнул — то ли жалеючи, то ли желая сбежать куда подальше. Закрыл ноутбук.

— Тебе очки или линзы нужны?

— Линзы, — уверенно кивнула я.

— Не хочешь, чтоб дразнили очкариком или зубрилой?

— Линзы удобнее, — слабо отмахнулась я, облегчённо отгоняя образ сгорбленной меня в огромных очках посреди класса, в которую все тыкают пальцем.

В нашем девятом «Б» одноклассники не особо донимали друг друга, но если вдруг случалась

какая-нибудь буря чувств, накрывал шквал злобы, и нужно было срочно найти козла отпущения, то все сырые и убогие получали серию незаслуженных уколов и казнящих укоров.

Папа согласился на любую покупку и любые траты ради благого дела. Только мама начала противиться (чего я ей сделала-то?), но папа не только мог быть заслоняющей боль тучей и смывающим слёзы вешним ветром, а ещё умел превращаться в тяжёлый глухой молот, пригвождающий любое возражение (мама усмирилась).

Неделю спустя мы с папой пошли за линзами. День был субботный, майский — поначалу сливочный, нежный, а потом потный и липкий. Ещё это был архиважный день. В общем, самый неудачный день, какой можно было выбрать. Мама ждала его очень долго, она впервые за многие годы собиралась выступать на концерте, и я боялась, что мы опоздаем из-за всей этой псевдоважной возни с покупкой линз. Пропустить концерт я боялась больше, чем остаться слепой.

Нет, хуже дня нельзя было выбрать! Но выбор как-то сам сложился под давлением самопроизвольных обстоятельств: папа по будням работал, а без него мама запретила идти: мало ли какую сумму я потрачу, вдруг ещё обману и никаких линз не куплю, надо проследить за мной и тем более проследить, чтобы устроили проверку зрения и подтвердили мою близорукость.

По дороге в салон оптики (как солидно звучит, а?) папа устроил почти незаметный допрос (если бы он сам не рассказывал, как строится допрос, я бы и не поняла):

— Ты сказала, что уже год плохо видишь. Верно?

— Угу.

— Почему не говорила раньше?

— Ну-у... Не знаю. Я думала, что это временно, что глаза устали из-за учёбы. А потом как-то раз надела очки одноклассницы, просто померить, и поняла, что в её очках всё вижу. Ну и подумала, что нужно сходить в поликлинику.

— И сама пошла в поликлинику? Ай, молодца! Но если что болит, нечего молчать, надо сразу говорить. Вообще если что-то не нравится, всегда надо высказывать. Иначе внутри потом копится недовольство, и ты уже не человек, а ходячий динамит. Такие чаще всего в преступники и залетают. Так что всегда выкладывай, когда чем-то недовольна. Язык для этого и нужен.

— Угу. Только мама говорит, что о своих проблемах нельзя много талдычить. Неприлично.

— А талдычить и не надо, надо говорить. Не попросишь вовремя помощи — захлебнёшься в тонущей лодке.

— Угу.

Мы дошли до салона, я чуть ли не бегом взнеслась по ступенькам, едва различая слегка расплывающуюся вывеску и надписи на дверях. В салоне (ну какое

слово!) всё сверкало: блики перебегали по оправам очков и, обретая разные оттенки в зависимости от цвета оправы, перекрещивались, слепили, точно боролись за внимание, как циркачи. На моих глазах тоже скрестили кончики шпага лучи бликов, и я жутко зажмурилась. Папа подтолкнул, обняв за плечо, и повёл вперёд, как слепую нищенку.

— Здравствуйте! — блеснул голосок продавщицы, и разговор заструился сам собой. От моего имени говорил папа, продавщица представляла салон (очень солидное словечко).

Минут за пять, или даже того меньше, мне проверили зрение: в пещерно-тёмной комнате перед каждым глазом выкидывали держатели с окулярами. Диагностировали остроту зрения в минус полтора (хотя какая же это острота — тупизна выходит). Тут же подобрали линзы. Проверявшая зрение тётенька в белом халате, с металлическим голосом, волосами, крашенными в платину, и призрачно-расплывчатыми чертами показала, как надевать линзы, какой стороной брать (на подушечке пальца должна образоваться чашка).

Мы с папой так бы и ушли, не пробыв в салоне рассчитанного нами часа, но папа попросил надеть линзы прямо в салоне. От его уверенного, требовательного тона сердце защемило — не то от дурного предчувствия, что мы можем опоздать, не то от благодарности, что выразил мои мысли вслух.

Меня подвели к зеркалу, алмазно блиставшему от перекрещиваемых в нём бликов и скачущих лучевых зайчиков. Затем открыли крохотные ванночки с линзами, я подцепила первую (совершенно неправильно, не как показывала тётка) и... В пороховую трубу безвременья вылетело полчаса, прежде чем я смогла приклеить прозрачно-голубоватые чашки к роговицам.

В первые секунды я не то чтобы ничего не видела, просто не обращала внимания на реальность, сосредотачиваясь на ощущениях. Моргала, как пришибленная, чувствуя, будто в глаза залетели песчинки пыли и надо их срочно удалить.

Металлический голос тётеньки предупредил, что глазам нужно время для адаптации, что поначалу нельзя носить линзы дольше двух часов в день, что в их салоне (какое вычурное словцо) заботятся о клиентах, и мне нужно прийти через месяц после носки линз для консультации.

Я оглядела тетёнку. Белый халат оказался дешёвой подделкой — слишком белый, с неуклюже короткими рукавами на длинных руках, с засаленными лацканами, весь мятый и в складках. Не менее складчатое лицо тётеньки скорее принадлежало тётке, близкой к определению матроны. Если бы я сразу увидела, какая она есть, я бы кинулась прочь из салона (противное словесо).

На неискренние расспросы тётки о самочувствии я только

заторопила папочку, напомнила, что нам нельзя опаздывать. Он кивнул и по-командирски зашагал к двери.

Пока я чуть ли не спринтом выбегала из салона, блики отпрыгивали в стороны и больше не слепили. Должно быть, линзы служили ещё и щитом от ударов световых лучей.

Только мы вышли на улицу, как я провалилась в другой, инопланетный мир, где каждая деталь, будь то борозда на коре дерева или трещина на асфальте, так больно полосовала глаза, что я всё время больно жмурилась. Неужто мир всегда был таким болезненно чётким, выворачивающим нутро наизнанку обилием самодостаточных, самодовлеющих предметов и несовместимых элементов?

Сердце забило кроликом, в горле заклокотала паника, но я сдержала крик, чуть не упустив папу из виду. Он по-королевски, не оглядываясь, уверенно маршировал к заданной цели. Несмотря на прямоту его военной осанки и боевую чеканность шага, я впервые подумала, что он трусливо спешил, что в его ускоренной походке был различим едва уловимый страх. Такой же страх, как у меня? Страх опоздать, страх разочаровать мать и утонуть в её суровых упреках?

— Ну, прозревшая, чего хвост мнёшь? Поддай шагу, а то всевидящая нас отчихвостит. Мы пойдём пешком, место дислокации тут в пяти шагах. Как раз

проверим твои линзы на зряженность.

Я кинулась к папе, фокусируясь только на нём, стараясь больше ничего вокруг не замечать.

Пока дошли до филармонии, я умерла, возродилась и прожила новую жизнь, хотя мы шли минут десять. Улицы расширились настолько, а дороги, дома обложили такими зернистыми точками, положенными так тесно, без единого гладкого, ровного местечка, что у меня больно рябило в глазах, но так и тянуло вглядываться в каждый пуантилистский мазок природы. «Так бы и умерла!» — беспечно думала я, рассматривая разноцветные (как оказывается — разноцветные!) камешки, вкрапленные в затёртый чернёный холст асфальта. А потом так резко подняла голову и уткнулась в чистое безыскусное небо, — как прыгнуть из затопленной хаты в ледяную прорубь — что так бы и упала от головокружения, но лишь обмерла и застыла на месте.

После такого светопредставления и миропредставления оказаться в кубической филармонии с её тесными холлами, бледно-палевыми стенами и блинтовой отделкой было то же, что обмакнуть кисть в белую краску после того, как смешал всю радугу на палитре.

Скорым шагом заспешили в бежево-костяной зал филармонии, концерт ещё не начался (жаль, жаль). Мы сели во втором ряду,

ближе к правому краю. Сцена уже была заполнена музыкантами: не то что яблоку — монетке негде было упасть меж инструментами (скрипки-скрипки-скрипки-контрабасы). Сплошь развевались тёмные траурные одежды, маячили прилизанные головы музыкантов. Мама сидела в центре перед фортепиано, походившим на полуовальную лагуну, окружённую кораллами из согнутых локтей, кистей и смычков.

Я была на концертах и раньше, но ничьих лиц не могла разглядеть ни при всеобнимающем свете, ни тем более в полутьме. А тут различила! Музыканты были словно изваяниями с выточенными из чёрного мрамора телами и беломраморными лицами. Лица эти были средоточием напряжения. Никакой озабоченной хмурости — брови оставались неподвижными и ровными, как линия горизонта, выше которой не поднимались морщины удивления, страха или волнения. Взгляд был уставлен в одну точку — куда-то вперёд, губы плотно сомкнуты, судорожно раздувались ноздри (я видела даже ноздри!).

Перевела взгляд на сидевших рядом зрительниц. Раз старуха, два старуха, а за ними третья — обратились в слух все. У них были не лица, а маски, изрезанные трещинами старости. Взор уставлен перед собой, но это не выражение сосредоточенности, а какое-то полное отсутствие осмысленности.

— Хора не будет, — произнесла старуха через одну от меня. — Зато будет игра со светом.

— Партитура? — ближняя. — Тьфу ты! Лучше бы хор позвали, а мультики я и дома посмотрю.

Свет погас, лица потемнели. Потухла надежда вспомнить название концерта или композиции, которую собирались исполнять. Я посмотрела на отца. Его глаза мерцали в полумраке, прикованные к сцене. Нет, если бы я у него опять спросила название концерта, он бы рассердился и рассказал об этом маме (не надо, не надо).

Аплодисменты наполнили зал, дирижёр с короткими ножками и пушистой седой шевелюрой раскланялся, заслонив маму. Она глядела куда-то поверх фортепиано (молилась, звала удачу?). В неверном свете её каштановые волосы были эбеновыми, заострённые чётры лица сделались острыми, как лезвия. Дирижёр развёл руки, как перед прыжком со скалы, и начал рассекать воздух, будто разводя морские волны.

Я слышала, как мама репетировала свою партию. И эта мелодия (как это у них зовётся?), эта музыка мне никогда не нравилась. Какая-то резкая, негармоничная, от которой болела голова. «Ты просто ничего не понимаешь. Это великое искусство!» — достаточно услышать это один раз, чтобы никогда не захотеть услышать вновь. Но тут оказалось, что целый оркестр исполнял эту мелодию, сюиту или симфонию, или бредонату, или психозопэму, ещё

более раздёрганно и нескладно. Я лишь изумилась — что в этой музыке находили люди с так называемым изысканным вкусом? А ещё свет...

Сначала по стенам поплыли синие разводы, как будто весь зал окунули в море, стали бросать в него камешки, и круги от них было видно из-под толщи воды. Дымные лазоревые всполохи поползли по сиденьям, стенам, лицам.

Фортепиано выстрелило первыми аккордами: сначала низкими, потом высокими, дикими, бешеными, отдающими в висках пульсацией. От звуков фортепиано по сине-туманной глади потолка побежали красные искры.

Мне стало душно, спускающаяся к партеру водянисто пламеневшие узоры как будто вот-вот должны были сомкнуться кольцом вокруг зала и задушить всех зрителей. Вдохнула-выдохнула. Просто игра воображения...

Я попыталась сосредоточиться на затылках впереди сидящих (не смотреть на мерцания, вдох-выдох). Каждая волосинка на головах дрожала, и это движение, помноженное на множественное множество волос, я улавливала так чётко, что в глазах заплясали многоцветные пятна-мушки. По моему затылку в такт музыке покакали мурашки.

Видно было лицо каждого музыканта, и все их лица разом — средоточия сосредоточенности. Зрители — замороженное единство с полуоткрытыми ртами и

запахнутыми душами. Если бы они действительно чувствовали музыку, разве могли бы они восхищаться ею? Только не этой экстремально стрессовой музыкой, скоростной стремниной, сносящей душевное спокойствие.

Дёрг-дёрг-раздёрг — не музыка, а выстреливание звуками наугад. Я закрыла глаза. Меня мутило, мотало, как на кораблике. И всё равно перед внутренним взором вспыхивали красочные кляксы. Красный-зелёный-синий. Вдох-выдох. Синий-зелёный-красный. Открыла глаза.

Высвеченные алым светом волосы впереди сидящих струились, шевелились, как клубки змеёнышей, коралловых аспидов.

Вдох-выдох. За текущей воздух рукой дирижёра виднелось лицо мамы. Она не смотрела на клавиши, она смотрела вверх и не двигалась, как будто её руки играли за неё («Эту поэму я сыграв в слепую, не сомневайтесь»). Сомневалась я, а папа был уверен не меньше, чем в самом себе.

Но почему я сомневалась? Вот она играет с каменным лицом и неморгающим взглядом — дёрг-дёрг-раздёрг. Красный-зелёный-синий. Вдох-выдох. Синие дымчатые кольца опутали спинки кресел. Какого цвета были кресла изначально? Вот что должна была спросить та старуха. Нет, старушка — трещины её морщин разгладились, глаза расширились, наполнились какой-то энергией, она помолодела на глазах. Либо так действовал кровавый свет.

Мама ударила пальцами по клавишам — дёрг-раздёрг — и кристальные лучи располозовали кровавый потолок. Я закрыла глаза, сжалась. Мурашки бросились вниз по позвоночнику.

— Тебе плохо? — шепнул добрый голос. — Выйди в туалет.

«В туалет», — мысленно повторила я, беззвучно благодаря папу за понимание. Если бы он не произнёс этого, если бы не дал разрешение выйти, я бы так и мучилась, потому что мама наверняка заметит моё отсутствие.

Чьи-то колени — в брюках, в юбке, в джинсах — выхожу в боковой проход. Пол, стены и весь партер залиты киноварью, размешиваемой синими пятнами, которые ширятся и множатся от бега маминых пальцев по фортепианным клавишам.

Стараюсь не смотреть по сторонам. Глаза жжёт, в желудке жбахает жирный ком блевоты, дёргающийся от каждой искры света. Вываливаюсь из зала. Контролёра в красной жилетке озбоченно кричит вдогонку. Бляшки на её туфлях больно колот глаза.

До конца коридора с бледно-палевыми стенами, направо — вниз по шершаво-известняковым ступеням. От серо-пыльных следов ботинок на белом известняке тошнит, сильнее жжёт глаза.

Ввалившись в туалет, подковыливаю к крайнему зеркалу, мою руки. Музыка не слышно, лишь шум воды из-под крана. Смотрю на отражение. Какое-то

растерянное выражение лица с примесью лукавства. В чём выражается лукавство? В кривом изгибе правого уголка рта, в широких дугах мешков под глазами, которые должны бы придать мне вид сонной скромняги, но только маскируют лукавство. Уж я-то знаю.

Я. Это «я» сосредотачивается в глазах. Впервые вижу каждую прожилку в омотах серых зрачков. Белки глаз — в красных трещинах капилляров. На зеркале тоже трещины. И на стене. Везде. И во мне. Внутреннюю трещину я чувствую явственнее оттого, что вижу трещины вокруг.

Фокусируюсь на воде, на её музыке, вглядываюсь в её прозрачный поток. Сквозь него видно мои ладони в трещинах линий. Пурпурные трещины перекрещиваются на плоти, тянутся вдоль фаланг.

Желудок скручивает в тугой комок, голова кружится. Это не прекратится, пока... Прикрывая глаза, достаю из сумки коробочку, гладкую на ощупь, с выемками и отделениями внутри. Ставлю контейнер на раковину, смачиваю пальцы.

С первого раза не выходит — я щиплю роговицу глаз, от неудачи хнычу. Потому что страшно — эта невыносимая зрячесть навсегда? Нет-нет. Вторая попытка. Глаз жжётся. Хнычу сильнее от жалости к себе. Лицо искажается. Некрасивое, обманчивое лицо с обманчивым выражением.

Правая линза, наконец, прилипает к пальцу, скукоженная, согнутая пополам. Закусывая губу, подношу её к контейнеру, наспех заклеенному после вскрытия, отпускаю, и линза тонет в растворе. С левым глазом выходит с третьей попытки.

Через десять или того больше неминуемых минут пришла в себя. В глазах двоилось, предметы то расплывались, то обретали очертания, и вместе с этим желудок болезненно скручивало. Ведь надо ещё привыкнуть к тому, чтобы видеть мир таким, какой он есть, а не каким его делает игра гаджетов для восторженного созерцания значимых и знаковых предметов.

Я вернулась под самый конец концерта. Дирижёр, едва заметный на фоне кучи замутнённых лиц, раскланялся под гром аплодисментов, и когда я дошла до своего ряда, зал озарился привычным, «немузыкальным» светом. Я посмотрела на маму. Её лицо расплывалось, но мне казалось, что она неотрывно глядит на меня с обвиняющим укором богини правосудия.

Всё утро я просидела в парке и вернулась домой, ожидая, что там никого не будет: папа отчалит на службу, мама отшвартует на репетиции. После того концерта её «загубленная карьера пианистки» пошла в гору и была воскрешена в блеске славы (видимо, старушкам до безобразия понравился концерт и без хора). Мне она не



высказала ни слова упрека про тот вечер. Может, не заметила моего отсутствия, и папа об этом ни слова не проронил, только источал комплименты её игре, стелился, как поэт перед розанчиком (сам всегда презирал поэтов). И мама, как роза под живительными каплями дождя, расцвела.

«Я и не сомневалась, что меня ждёт успех, я же говорила, что все считали меня одарённой и пророчили большое будущее! Пока я не забеременела, конечно».

У меня ёкало сердце каждый раз, когда она упоминала о своей горько растоптанной возможности стать великой музыкантшей. А упоминала она об этом чаще, чем мне давали карманные деньги. Короче, ни дня не проходило без сокрушений об утраченном прошлом и сопровождающих их гулких ударов моего сердца. Мама говорила о своём прошлом всегда за столом: за обеденным или письменным, за любым столом, занимаясь чем-нибудь попутно — готовя ужин, подшивая одежду, смотря «Культуру». Только когда музицировала, забывала о своём великом таланте. Но теперь я заметила, с каким выражением она говорила о самопожертвовании — взгляд полупустой, ничего не видящий. Выходит, когда у человека голова ничем особо не занята, в неё лезут вониючие, как заношенное бельё, воспоминания об упущенном?

Если бы не линзы, я бы так и воображала, что она смуро сердится в такие минуты. Линзы я

носила уже две недели, всё ещё удивительно было видеть мир незамутнённым, всё ещё не привыкли глаза. Я могла носить линзы максимум пять часов, а потом вновь мутило, и предметы, неподвластные чудодействию каплевидных окуляров, двоились, как бы корёжась и сотрясаясь от несуществующих ударов.

Мама ничего не говорила про мою «куриную слепоту» (так она сначала назвала это), а мне было интересно заново познавать мир, пока я не надела линзы в школу. Как я могла думать, что у меня там есть друзья, что у нас хорошие учителя, что наш девятый «Б» класс — самый дружный и не особо едкий? Оказывается, всё это время Ленка (её в пору было бы назвать Лямзой), — Лямза всё это время списывала у меня на уроках, беззастенчиво косилась в мою тетрадь, даже нагло подвигалась и чуть наклонялась над ней.

«Подлюга-подруга! — внутренне сокрушалась я, стараясь ничем не выдать озлобления внешне. — И как давно ты так дельничаешь? И ты была в курсе, что у меня плохо со зрением? Только подлюга пользуется немощью убогих!»

Убогой... Только убогая может думать, что классуха её хвалит, морщась и саркастично говоря: «Да-а, у вас, Невзорова, феноменальная способность запоминать мелочи». Почему меня раньше не настораживали эти «мелочи» (намёк на мелочность?). И она выдавала это регулярно, как банкомат,

стоило нажать на функцию «дать училке правильный ответ на её вопрос».

Как-то вместо школы я пошла в парк. А потом ещё раз так сделала. Третий день. И вот уж шестой. Я бы не сказала, что мне было плохо в школе, но теперь, когда стали заметны все эти натужные ужимки одноклассников, неискренние ухмылки, деланные позы, стало противно, как от запаха загаженных школьных унитазов. Отныне по дороге в школу мне и мерещились эти унитазы, которые, как оказывается, были далеки от беломраморной чистоты и зияли гнойной желтизной по ободку дыры и заскорузлой серостью по кайме сидения.

Конечно, маме я не сказала, с какой стороны мне открылась школа (не надо, не надо), только ловко подгадывала время и спустя два-три часа шатаний по цветущим паркам возвращалась домой, когда там никого не было.

Но в этот день меня постигла неудача (неслучайно в парке не смолкало колочее карканье нехорошей вороны). Я открыла дверь нашей трёхкомнатной квартиры в изнеможении и надежде на вкуснейший завтрак, — после утренних прогулок есть хотелось, как после одиночной битвы со всем светом.

— Ты меня за абсолютную идиотку считаешь, барышня? — мама сама в позе барыни: руки в боки, требовательный взгляд с изогнутой, как хлыст, бровью, хлестающей если не по заднице, то по

совести. Не успела закрыть дверь, как она пустилась по тропинке прений: — Это абсолютно непостижимо! Ты не думала, что мне позвонят из школы и доложат о твоих чудовищных прогулах?

— Почему чудовищных? — пользуясь предложением закрыть дверь, я повернулась к ней спиной. — У тебя всё чудовищное, мам. Люди, соседи, жизнь. Скажи уже, что я тоже чудовище.

— Нет, ты всё ещё моя дочь, но растёшь абсолютно неблагодарным сухарём. Тебе дают всё да на блюдечке, а ты вот как отвечаешь? Откуда такая безалаберность?

— Да я... — повесила ключи на крючок, нарочно замешкалась, звонко звякая звеньями брелоков.

— Выкладывай абсолютно на чистоту. Я требую!

— Не нравится мне в школе. И мне было плохо эти дни. Поэтому я гуляла в парке.

— А в парке интересней, чем в школе?

— Ну, ты же сама хотела, чтобы я чаще гуляла и выходила из дома...

— Поменяла шило на мыло и ещё перевираешь мои слова! Ты это назло мне.

— Да при чём тут ты? Мне просто надо привыкнуть к линзам, — наспех разувшись и раскидав кеды, ринулась в свою комнату.

— Что ещё выдумашь? Воспаление сачковидной железы? Твои мозги съела собака?

— Ой, если бы...

— И в кого это у тебя? В твои годы я...

— Да-да, помню.

— ...я была абсолютно, абсолютно другим человеком... Запирать дверь в свою комнату перед лицом родной матери — такого даже последняя скотина не делает.

— Хорошо, что я не скотина.

— Такое отношение никуда не годится, — распахнула дверь в мою комнату. — Чем я это заслужила? О тебе заботятся, всё тебе дают...

— Вот тупых советов можно давать поменьше.

— Переходный возраст? Разница поколений? — всплеснула руками и возвела очи горе.

— Знаешь, тебе лучше было бы стать актриской, а не музыкантшей.

— За что ты так? — как будто всерьёз обиделась, скуксилась. — Ты даже на моём концерте не усидела, или думала, я слепая, не замечу?

— Нет, слепая у нас я. Была.

— Тебе даже полчаса жалко мне уделить, что ты не можешь высидеть на концерте и послушать... — пустила одинокую слезу. — Просто послушать. Тебе трудно просто послушать родную мать? Я что, так плохо играю?

— Да мам... ды... при чём тут... ты? — чувство стыда вызывало запинки. — Мне стало плохо. Из-за линз. Тошнило. С непривычки. Это нормально. В первое время.

— Спасибо за щадящую ложь, милая дочь! — с надрывом в голосе и праведно блестящими глазами на гордом лице богини правосудия. — Теперь буду думать,

что тебе ещё не плевать.

Громоздкая пауза повисла в кладбищенской тишине и гробовой клетушке-комнатушке, такой же холодной, с четырьмя пустыми углами, меж которых теснился труп меня — хозяйки с её загробным скарбом (в моём случае это компик, столик пред ним, шкафчик у стены и диванчик напротив).

— Художника легко обидеть... Ты вообще понимаешь, что я бросила музыку ради тебя? И теперь, когда я решила не гробить мечту, ты вот так отвечаешь?

— Вот именно, что ты не бросила свою музыку, раз опять ею занимаешься! И вообще! Чё ты паришься, если ты играла на своём пианино, даже когда была беременная? Ничего ты не бросала. И вообще художнику должно быть пофиг на все эти концерты. Художник умирает дважды!

— Что? Глупая твоя голова, ты понимаешь, что сказала? Ты меня только что похоронила! Значит, по-твоему, я дерьмовый музыкант? Всё понятно. Я так и знала! Чтоб ты знала, художник, хороший художник, не умирает никогда! — вылетела вон из клетушки в зал.

— Я не знаю, что с ней делать! — причитала она то ли невидимым духам-помощникам, то ли невидимым зрителям. — Я пыталась привить ей вкус, пыталась внушить любовь к музыке! Это абсолютно невозможно! Даже на глюкофоне не может играть. Не хочет. Ничего не хочет!

Ах, да, у меня в шкафике был ещё глюкофон, больше похожий на инородный предмет (анероид измерения ссорной атмосферы в квартире). На день рождения отец подарил мне компьютерную игрушку (что я и хотела), а мама — глюкофон (что меня убило). «На глюкофоне играть сумеет даже мышь, если захочет», — была нескромная реклама подарка от мамы. Но я вот играть не хотела и потому не умела (что убивало маму).

— Нет, всё, абсолютно хватит! — вынесла приговор богиня за стеной. Вмиг оказалась в моей комнате. — Всё, иди гуляй! Парк ждёт тебя!

Она вцепилась в моё плечо и потащила за собой. Её длинные волосы щекотали мне лицо, а я почти безвольно, как овца на убой, плелась за ней (совсем слабо упиралась ногами в пол).

— Обувайся, — выставила меня к двери, как игрушку на стеллаж. — И иди, иди, куда хочешь. Привыкай к своим линзам и своей новой жизни. В школу можешь не ходить. Гуляй, тебе полезно. У неё уже геморрой вылез, а она дома всё сидит.

— У тебя первой он вылез... — тихо пробурчала я.

— Вот именно, что у меня первой! А ты даже не понимаешь! Проветришься хотя бы.

Чувствуя себя увальнем, я полуупала на пороге, вытянула одну ногу, надела тупоносый ботинок, негнуцимися пальцами завязала шнурки. Богиня правосудия всё нависала надо мной, как

дамоклов меч. Нет, всё-таки как меч праведного материнского гнева — такая же длинная в своём полуэстрадном платье в пол (у неё все платья были такие) и такая же наострѐнная со своими острыми плечами и наманикюренными длинными когтями (перед всеми концертами делала маникюр).

Когда я утомлѐнно и медленно покочичила со вторым ботинком, дверь, как по волшебству, открылась — нет, это не был папа, это тонкая рука богини незаметно протянулась надо мной, пока я сидела и обувалась. Она молча вытолкала меня за дверь, так же громко её защѐлкнула и с громкими рыданиями затопала прочь (наверняка в свою персональную залу, поближе к пианино и невидимым зрителям-утешителям). Я прислонилась к стене подъезда и сползла вниз. Не было сил ни на что. Мысли сузились в спутанный клубок жалости к себе. И как я могла раньше не увидеть, что моя мать — абсолютная истеричка? Если бы я была похожа на неё, я была бы совершенно слепой идиоткой, и никакие линзы эту слепоту не исправили бы.

Бессильно ударила кулаком по полу и тихо заплакала, стараясь попасть в унисон с рыданиями мамы — уж это я могла сделать, мне достался музыкальный слух. Вообще со слухом явно было лучше, чем со зрением. Подумав об этом, я заплакала в голос.

Нет, всё, я всё решила. Дом — место, где можно быть максимально откровенным, вести

себя в высшей мере неадекватно. Если ты лишён такой привилегии — пора переселяться.

\*\*\*

В моей с мужем спальне стоял мой туалетный столик с моим зеркалом-трюмо. О таком зеркале я мечтала ещё в детстве, когда была жива бабушка, она рассказывала самые важные вещи перед советским трельяжем. Во взрослой жизни трюмо, однако, напоминало не о детстве, а о главной мысли, которую донесла бабушка: трёхстворчатое зеркало есть отражение семьи. Она заронила в мою маленькую головку мысль, что гармоничная семья должна состоять из трёх человек, и это её наставление я исполнила. И каждый раз, сидя перед трюмо, я думала, что в нём отражаются три ипостаси единого существа, моей семьи. Только одна из створ начала самовольно отвинчиваться, чтобы сделать из трюмо какой-то несоразмерный диптих. Моя дочь Вероника.

Я не тиран и не деспот, чтобы изводить ребёнка и диктовать ей, кем стать, но у меня тоже есть терпение. И когда ты понимаешь, что в ответ на твои материнские жертвы, съеденные нервы и бессонные ночи, коверкание тела и жизни ты не получишь ничего, кроме молчаливой ненависти и тихого бунта, у тебя опускаются руки, голос сам собой срывается на истошный крик, а причитания незаметно оборачиваются обвинениями. Смириться с тем, что

твое чадо отвергает обрисованное тобой счастливое будущее, ещё не так страшно, как упереться в непробиваемую стену невзаимного недопонимания. «Художник умирает дважды». Похоронила меня на месте без лопаты. Вот что я в её глазах — никудышный художник.

Со своей матерью я была так близка, как ни с какой другой подругой, и, конечно, хотела бы сохранить такие отношения с моей маленькой победительницей Никой, главной музой и ангелом музыки моей жизни. Но она так отъявно упиралась и упёрто отдалялась, а мои внутренние силы таяли даже быстрее, чем сопранный голос умирающей Снегурочки Римского-Корсакова...

Вечером того дня, когда я скоропалительно выпроводила Веронику за дверь, я пыталась высказаться по этому поводу с мужем, таким недалёким с его верой в непогрешимость детей и подростков и до того недалёководным, что он раздражал меня до зубовного скрежета.

Я сидела за столиком спиной к зеркалу, лицом к мужу, развалившись на кровати прямо в своей полицейской, мятой, запачканной униформе. Предзакатный свет желтил зелёные шторы, золотил пылинки в бесцветном воздухе и высвечивал вечернюю утомлённость. От мужа несло потом, улицей, усталостью. Всё это так не шло комнате, где должен был царить порядок, так не шло нашему разговору, который должен

был вестись тихо, доверительно, как полагается между супругами, поэтому всё, всё шло не так.

— Наша дочь больна, — с ходу начала я, унимая дрожь в голове и пальцах. — Веронике нужно как-то помочь, но я не знаю как.

— Ты про линзы? — полусонно ответил Вова, разлѣгшись на постели звѣздочкой, как звѣздочка у него на погонах. — В салоне Веронике сказали, что к линзам нужно привыкнуть...

— Нет, я не про линзы. Не из-за линз же она не ходит в школу.

— Мне она сказала, что из-за линз.

— Она тебе сказала? Ты знал, что она не ходит в школу? Она тебе сказала?

— Не, напрямую она никогда не скажет. Просто сказала, что увидела, как на самом деле к ней относятся в школе, и поняла, что школа ей надоела. Увидела всё в истинном свете. Так это, кажется, называется? Ну и я, не будь дурак, догадался, что она прогуливает уроки.

— Не просто прогуливает, она вообще перестала ходить в школу, понимаешь? Мне сегодня звонила её классная руководительница, стыдила и задавала неудобные вопросы. Это абсолютно ненормально. Когда я сегодня выгоняла Нику, она тоже несла эту чушь про линзы. Но это самое нелепое оправдание...

— Ты сегодня выгоняла Нику? — приподнялся на локте.

— Да, я выставила Нику за дверь. Она сказала, что прогуливала уроки в парке, начала

изводить меня, издеваться, у меня сдали нервы.

— И ты её выгнала? Как давно её нет?

— Какая разница? Она всё равно вернётся, ей некуда деваться. Она сама понимает, что вывела меня. Может, она и больная, но не глупая.

— Почему ты молчала? — он решительно поднялся, снял форменный пиджак со стула. — Ты понимаешь, что мне придётся поднимать весь отдел, звонить шефу, поднимать народ на её поиски?

— Сядь и успокойся, — как можно более ровным и уверенным тоном произнесла я. — Ничего страшного не случилось, твоя дочь вот-вот вернётся. А если ты в неё не веришь, то грош тебе как отцу.

— А вдруг она, как в том фильме, с концами? Ты не можешь знать стопроцентно. И если мы вовремя не подадим заявление, то потом хрен с огнём не найдём.

— Значит, когда я хочу хорошую жизнь, то я мыслю киношными стереотипами, а когда ты паникуешь, просто взял и вспомнил фильм? Сядь и успокойся. Она просто привлекает внимание, а ты её поощряешь. На моём концерте разрешил ей выйти, в школу разрешаешь не ходить, отец-молодец!

— Далась тебе эта хреношкола, там только дуриков учат. Вероника и так до хрена читает и умнее всех этих додиков в классе, — грузно и успокоенно плюхнулся обратно на кровать. Быстро же бросил свои поиски.

— Ты меня слушал? Она больна.  
— Ну и чем?  
— Она выдумывает себе болезни. И с глазами у неё всё нормально, это привлечение внимания. Это всё выдумки.  
— Так называется болезнь — «выдумки болезней»? Я со школы помню только симулянтство.  
— Ты плохо следишь за моей мыслью. И за Вероникой тоже. Вот ты помнишь, как у меня когда-то кровоточили дёсны?  
— Мало ела со своей хреновой диетой, тебе даже врач сказал...

— А после того, как я пролечилась, Вероника начала жаловаться, что у неё тоже кровоточат дёсны.

— Они у неё реально кровавились, я видел следы на раковине...

— Да, реально, и мне потом пришлось с ней к врачу ходить и покупать те же средства от гингивита, что себе, а это тоже деньги.

— Всё равно мои деньги, чего ты...

— А потом ещё помнишь, как я через две недели заболела гриппом? Я даже не успела пролечиться, а Вероника заболела вместе со мной, и у неё были те же симптомы. И потом, когда я уже начала репетировать с оркестром, у меня было осложнение, гайморит. И чуть-чуть позже у Вероники появились те же симптомы, и она просила дать ей те же лекарства, что принимала я, и заверяла, что у неё тоже гайморит. Пока, конечно, лор не сказал, что у неё просто воспаление,

которое она быстро пролечила после этого диагноза. И плюс потом ещё прямо перед концертом у меня вызрел... — я понизила голос до шёпота. — У меня вызрел геморрой, и через неделю у Вероники тоже! Ну, и какие выводы напрашиваются?

— Ты слишком часто болеешь, — невозмутимо отозвался муж. — У тебя слабое здоровье, и Вероники перепали твои гены.

— Нет и ещё раз нет! Ты вообще слушал? Она просто привлекает внимание.

— И ещё у тебя с твоими репетициями разыгралось воображение. Так это вроде называется?

— Да ты издеваешься! Ты понимаешь, что это серьёзно?

— Ладно, — шадяще вздохнул он, — я понял, к чему ты. Только у тебя с глазами всё нормально, и ты никогда не носила линзы. Так что все твои комбинации доводов не более чем фланировка. Или аргументовка, так это называется?

— Да ты не понимаешь! — я устало выдохнула. Даже преподавать музыку малышке проще, чем спорить с мужем. — Это значит, что у Ники и с глазами всё в порядке. Может, у неё истерическая слепота, или это так переходный возраст проявляется, что она наконец-то не копирует болезнь, а выдумала свою.

— Ты сама себя слышишь? С такой спекуляцией ты бы, конечно, отмазала от суда, но залетела бы в дурку.

— Я к тому, что Ника верит в свою болезнь, а линзы могут ей только навредить, и у неё взаправду начнутся проблемы со зрением.

— Так в любом случае не зря купили, — слабо пошутил муж, но затем уголки его губ опустились, а лицо прояснилось осознанием того ужаса, который я внушала ему четверть часа. — Так на хрен все эти словесные спекуляции, надо найти Веронику!

Я в отчаянии зарычала, невольно закатив глаза.

— Да не нужно её искать! Она этого и ждёт. Не надо потакать её болезни, надо вытравить болезнь. Я думаю, правильно сделала, что выгнала её, свежий воздух идёт на пользу...

— Отставить паясничать! — решительно пресёк муж. — Ты сейчас сама, как...

Громкий стук в дверь осенил наш бестолковый диалог тишью и потушил полыхание споров. Вова молча направился открывать дверь, чеканя маршевый шаг. Он включил свет в коридоре, но из-за шифоньера у стены я не видела, кто пришёл.

— Наша милая блудная дочь! — ликующе прокричал муж, после чего послышались шорохи движений. Я живо вообразила, как они обнимаются.

— Где ты была? Как ты? Никто не обижал? — последовали вопросы мужа. Я упорно хранила молчание, вылавливая детали сцены из долетающих звуков. Либо Вероника говорила очень тихо,

либо просто не отвечала, потому как я ничего не могла расслышать, а слух у меня абсолютный.

Вероника разулась — новые шорохи, стук каблуков, шмыгнула носом, утёрла слезу со щеки. Муж сделал шаг назад, дал ей пройти, и я, наконец, увидела её — с опухшими красными глазами, утратившими серый оттенок, с превратившимся в альфий припухший гриб носом, взлохмаченными каштановыми космами, в помятой школьной форме, с каплями на жабо белой блузки (которую я ей покупала), с пыльным бурым пятном на чёрном пиджаке.

Она подошла к своей комнате, оперлась о ручку двери, как будто ища подпоры.

— Что случилось? — спросила я; вышло строго, чуть ли не высокомерно.

Вероника посмотрела на меня обиженно и укоризненно, в её деревянных оцепенелых движениях угадывались невыразимая боль и неодолимая обида.

— Можете радоваться, — объявила она мокрым голосом, чуть не захлёбываясь после каждого слова, глядя только на меня. — Я пыталась снять линзы и потеряла их. И другие мне не нужны. Лучше буду слепой. Чем видеть всё.

Я выпрямилась, бросила красноречивый взгляд мужу за её спиной, но он ничего не заметил, потому что в этот момент Вероника собиралась юркнуть к себе в комнату, когда он сжал её в крепких объятиях. Вероника громко зарыдала.



«Я же говорила!» — билась в моей голове мысль.

Я протяжно выдохнула, отвернулась, закрыла створки зеркала, и между ними остался тонюсенький зазор, через который было видно моё отражение. Такой же величины зазор остаётся между близкими людьми. Как принято, между матерью и дочерью, а не между дочерью и отцом.

«Плохая из тебя вышла мать», — больно заныло сердце.

Бабушка в детстве наставляла, что нельзя ставить зеркала друг напротив друга, — даже если одно будет совсем крошечное, а второе великанское, даже если они будут в разных углах комнаты — иначе того, кто отразится в зеркальном коридоре, постигнут мировое несчастье и адовы муки. Но её наставление я вспомнила лишь в тот вечер, а раньше даже не задумывалась над тем, что в зале на фортепиано, занимавшем весь угол, стояло косметическое зеркало в золочёной вензелевой оправе, и в противоположном углу, у библиотечного шкафа томилось бесподобное барочное псише. Псише досталось от матери, поэтому его местоназначение и нужность не подлежали ни малейшему сомнению. А мне оно помогало, когда я музицировала: во время одиночных репетиций я ставила маленькое зеркало так, чтобы в нём было видно псише, отражавшее мою спину. С помощью такого незамысловатого трюка я ровняла осанку и благодаря маленькому зеркалу исправляла выражение лица: никакому музыканту не

идёт маска мрачной угрюмости, публика любит воодушевлённые, проникнутые светом вдохновения лица.

В тот вечер, на следующий день после благополучного возвращения Вероники и нашего бессловесного перемирия, я собиралась устроить прямой эфир в соцсетях, дабы привлечь новую аудиторию. Сначала я, как всегда, поприхорашивалась перед маленьким зеркалом и начала разминку. «Она играет гаммы, как это примитивно!» — могли бы сказать иные чопорные мастаки концертмейстерства, на что мой преподаватель, земля ему пухом, ответил бы велеречиво: «Шпрехшталмейстер каждый день начинает с того, что повторяет алфавит».

Его присказку я вспоминала ежедневно в течение последних пяти лет, когда решила вернуться к музыке. Хотя до того, забеременев, решила, что подвиг родительства — намного больший и ценнейший подвиг, чем закляние себя на алтарь искусства. Нет-нет, только юная, бестолковая девица, одержимая грёзофарсами, может так думать. Но тогда выходит, что моя юность длилась ещё десять лет после родов... Нет, лучше ни о чём не жалеть, это губительно для любви к себе и жизни.

Упражняясь с гаммами, я уже предвкушала, как сорву восторженные, хоть и невидимые для меня аплодисменты по ту сторону камеры после того, как сыграю фортепианную партию с того самого концерта, который нахально пропустила Вероника. Шопен,

Шуман, Шёнберг, мои небожители-заместители богов, да простите вы мою дочь за борзую неучтивость и непокладистую бессовестность!

Нет, эти дамские думы надо решительно гнать взащей, и я успешно гнала, сосредотачиваясь на мажорном до-ре-ми... Пальцы уже покалывало от возбуждения и предвкушения зрительского восхищения. Как вдруг — совершенно непредсказуемо и почти незаметно — к моим весёлым «ляси» присоединились грустные «сила», такие долгозвучные и гулкие, что я безошибочно определила глюкофон. Стараясь не придавать тому значения, я левой рукой пошла по минорному ряду гаммы, но и глюкофон понёс навстречу, как волну, мажорную гамму, они пересеклись, встретились и, как спешащие прохожие, не сбавляя хода, понеслись дальше — каждый в своём направлении, на своей волне настроения, равноудалаясь в одинаковом темпе.

«Это она в пику мне?» — ментально озлобилась я. Нет, Вероника не знала нот. Не могла она так искусно развернуть поле битвы со мной. Хотя, как говорят любители, душа гения не знает нот. Нет, нонсенс, просто совпадение!

В крайней ажитации я опустила кисти на клавиши, побежала пальцами по пути до мажора, и в ту же секунду, рассчитанную до последней доли, глюкофон начал распускать гудящие эховолны.

«Ааар, макрельная кокетка, глазунья лупоглазая, насмешница потомственная! — небрежно и

несдержанно перебирала я в уме, обручивая Веронику. — И она отказалась от музыки, от вокала! Она бы блистала на сцене, а вместо этого дразнится неограниченным талантом!»

Я опустила дрожащие руки на колени, попыталась отдышаться. Светлые, лазурно-серебристые фиоритуры глюкофона ещё дрожали где-то под потолком. Да, несомненно, это была беспощадная рассудочная месь. Взгляд упал на маленькое зеркало. Суженные в щёлки глаза, сморщенный длинный нос, вздёрнутый кверху уголок губ. У меня был такой мстительный вид, какого я никогда прежде не принимала. И эта ненависть к ...?

Перед взором всё мешалось, казалось, что комната пылает красно-коровыми оттенками, а комната Вероники, наоборот, погружена в холодные воды спокойствия и синие тона её музыки. Нестерпимо задевало, что уж я-то не могла пропустить её одиночный концерт, как она пропустила мой.

Глюкофон зазвучал вновь. Как-то более произвольно, не следуя директиве гамм. Видимо, маэстро перешла к основной части. Может, её месь была неосознанной? Да и месь ли?

Я вскочила и ошпаренно влетела в спальню. В такое время муж обычно смотрел на ноутбуке всякие ролики о полисменах. Он уже десять лет, служа в органах, мечтал получить полковника, но как застрял на майорской должности, так, похоже, и суждено ему было

куковать на ней. Вове не хватало оборотистости, связей, умения выслужиться перед кем надо, но он этого не понимал, думал, что нужна какая-то особая, военная философия, которой он понапрасну набирался у дослужившихся коллег, которых встречал только в видеоинтервью.

Он спал с ноутбуком на груди. Заснул. Самое страшное в моей жизни было, есть и будет — не найти поддержки у мужа. Бабушка, мать и отец до поры до времени были ближайшей и крепчайшей опорой в жизни. Вот почему я думала, что важнее и сильнее семьи нет ничего, даже искусства.

Я хотела в одну секунду разбудить его, всё рассказать и потребовать разобраться во всём, выступить третейским судьёй, моим защитником, в конце концов. Но что бы сказал мне муж, с его видением всего на свете в чёрно-белых оттенках, с его простодушием и безыскусностью? О, я знаю, что бы он сказал. «У тебя разыгралось воображение, възгнала зависть. Если Вероника и умеет мстить, то переняла это от тебя».

Я посмотрела на любимое трюмо. Бабушка вещала истину с её теорией зеркал. Попадёшь в зеркальный коридор — лишишься семьи.

\*\*\*

«Я, Владимир Евгеньевич Невзоров, торжественно присягаю моей супруге Владлене на верность. Клянусь свято оберегать её и наш общий очаг, почитать её

отчий дом, нестрого, но разумно воспитывать наших детей...»

Спустя почти шестнадцать лет я забыл воинскую присягу, запечатывал некоторые части воинского устава, хоть и повторял его периодически, но слова моей свадебной клятвы я помню наизусть от и до, ныне и присно. Тем более, что я писал клятву, взяв за основу воинскую присягу. О чём-то это да говорит, а? Я думаю, о том, что семья для меня на первом месте, и это именно семья — тот барьер, что стоит между мной и продвижением по службе.

Нет, надо гнать эту мысль за границу страны «Ненужные мысли».

Проснувшись в то утро, я успешно покинул эту самую страну, которая в последнее время так часто, как будто назло затягивала меня во сне. Я помнил, что заснул под усыпляющие звуки глюкофона, и ещё боялся, что жена обязательно разбудит, заставит раздеться, убрать ноутбук, начнёт недовольно истерить. Да только к собственному стыду с утра обнаружил, что ноутбук был уже убран, а я укрыт одеялом. Смиловилась родная.

Её уже не было дома, отчалила на репетиции с оркестром, а у меня был нерабочий день. Я лениво, как лев на привале, переоделся, раздвинул шторы резким движением, из-за чего затрепетали ламбрекены. Владлена требовала не делать так, боялась за целостность штор и семейной тишины, которую только себе самой дозволяла нарушать.

Голова моя была по-утреннему приятно пуста. Желудок был неприятно пуст. Я отправился на кухню, откуда нёсся запах кофе и яичницы-глазуньи. Значит, Владлена была в превосходном настроении, а то обычно, по крайней мере, весь последний год она редко готовила завтраки, только когда была в хорошем расположении духа, либо когда оставалась дома весь день.

Однако на нашей маленькой кухне я нашёл Нику, она сидела за столом напротив двери и при виде меня округлила свои ясные глазёнки, выразительные, как у лани, доставшиеся ей от матери. Эти-то глаза когда-то и приковали меня к Владлене. Если Ника пойдёт в мать, то...

— Доброе утро! — улыбнулась Вероника, что было совсем нетипично. Где-то уже год она не выходила на кухню, предпочитала трапезничать у себя в комнате, глаза какой-нибудь сериал или читая книгу, от чего Владлена зазря пыталась её отучить — вроде как есть за чтением вредно для здоровья.

— Я приготовила завтрак! — по-солдатски отчиталась Вероника, вскакивая с места и суетясь у плиты, накладывая мне на тарелку промасленный кусок глазуньи, а потом, как бы мимоходом, юрко и ловко наливая сваренный кофе в турецкую чашку, по виду всегда напоминавшую мне русскую рюмку и пару раз её заменявшую. От всего этого действия я буквально опешил и наблюдал, не роняя ни слова. Потом сел за стол к предложенной трапезе.

— Молодчина, дочка! — не сразу спохватился я, сдерживая голодную слону. — Теперь давай-ка отставь суету, сядь за стол, поешь со мной.

— Я уже ела, — не снимая улыбки, она села напротив.

— Всё равно молодца! — я принялся за завтрак. Быстро умяв яичницу и выпив кофе, подыскал логичное продолжение: — Ты вчера играла на глюкофоне?

Вероника старательно кивнула, приняв серьёзное выражение.

— Молодца! Мама будет довольна.

— Ты думаешь? Мама абсолютно ничего мне не сказала про это. Так что я вообще не уверена. Хотя мне понравилось играть на этой НЛЮшной тарелке.

— Не гоношись. Она сама тебе подарила эту штуковину и сама хотела, чтобы ты начала играть.

— Человеческая природа непостоянна, — сурово парировала Вероника.

— Это да, но не всегда, — немело буркнул я, дивясь её сумудрому речению и мысленно шаря в холодильнике в поисках съестной добавки. Удовлетворённо ткнувшись внутренним взором в палку полтавской полукопчёной на дверце, выдавил глубокое утешение: — Мириться с матерью, перемирие в целом — это стратегия. И я, как военный стратег, одобряю твой первый ход к перемирию. Ура миру!

— Спасибо, — скромно улыбнувшись и опустив глаза, принесла Вероника. Смущённо поднялась, взяла мою опустевшую

тарелку в рыжих маслянистых разводах и чашку с заляпанным бурой грязью доньшком, принялась намывать посуду.

Шум струящейся воды из-под крана вызвал к жизни неодолимую потребность опорожнить мочевого бурдюк. Расслабившись, я пошёл в туалет. Как только Ника запрётся в своих принцесских почивальнях, проберусь к холодильнику и напилю бутеров с толстым слоем. Так привычнее, так сытнее...

В судьбу не верю, но случайности неслучайны, иначе почему в туалете мой взгляд зацепился за мусорное ведро и за выброшенный контейнер для линз? Не знаю, что меня дёрнуло, — выведенная работой привычка всё проверять, или просто беспутал — но я вытащил контейнер из ведра, зачем-то отряхнул, хотя он был чистый, как будто специально уложенный поверх горки бытового мусора. Сначала открыл белый кружок с пометкой «R», потом проверил синий «L». В обоих плавали голубоватые ровно вырезанные льдинки, линзы.

Ника сказала, что потеряла линзы на улице. Неопровержимое доказательство недобросовестности подсудимой и дачи ложных показаний. Не зная, что думать, прошёл в спальню, сел на кровать, чувствуя себя бестолковым бараном. Что делать в такой ситуации? Что говорить? Да и нужно ли говорить? В животе тоскливо заурчало от неразрешимости.

Владлена заунывно повторяла, что моя нерешительность

есть причина всех моих неудач, мол, я же «полисмен», должен быстро ориентироваться в обстановке. Конечно, ориентироваться не составит труда, когда есть устав и положенный распорядок действий. «Ах, так ты сам ничего сделать не можешь, всё по указке надо?» — запиликал её голос в голове.

Ну в ж... эти нюни! Я прилёг на кровать, начал перебирать, что нужно сделать к понедельнику и к концу следующей недели: отчёты, инструктажи, проверка чужих отчётов, отслеживание инструктажей подчинённых... От мыслей о трудовом грузе, как обычно, унесло в белый, чистый сон без сновидений.

Проснулся часа через два от раззадорившегося солнца, жиганувшего по глазам хлыстом луча, проснулся разбитый и уставший, с кислой вонью пряной яичницы во рту и песчинками кофе меж зубов. Колбаса таких грязных следов не оставляет, она деликатно и умело вскрывает замок вкусовых ощущений.

Медленно распрямился. Мигом ринулся в туалет: бурдюк вот-вот должен был лопнуть. В туалете опять споткнулся взглядом о белую точку контейнера посреди серо-бумажного мусора. Под растекающийся запах урины неотрывно глядел на контейнер и туго думал о чём-то неуловимом, сказывалась сонность. После опорожнения бурдюка и справления ближайших нужд мозг запускается и работает с новой силой, но тут что-то пошло

не так. На кой-то чёрт я схватил контейнер и спрятал в карман халата — так же неосознанно ведут себя клептоманы? С видом малоопытного карманника, ссутулено и зажато заторопился обратно в спальню. Мимоходом заметил, что Ника была в своей комнате, играла в компьютер в окружении книг, учебников, тетрадей.

Не знаю, видела ли меня, но я на всякий случай заперся в спальне, подыскивая, где бы спрятать улику. Уж в таких вещах я смыслю даже больше, чем Владлена с её музыкой.

Кинулся к напольному плинтусу у двери, сорвал пластмассовый стык и с силой воткнул контейнер, так что он плотно пристал к стене. Плинтус слегка сдвинулся вперёд, стал выпирать, но Владлена точно не обратит внимания. На хрена я спрятал этот недоувещдок, сам не представляю. Позорная картина: майор полиции прячет никем не запрещённую финтифлюху в самое неожиданное из возможных мест. Хотя контейнер для линз не принадлежал к списку предметов, на которые Владлена могла бы наложить санкции, я чего-то да опасался. В этом было что-то инстинктивное, не знаю. Может, по-отечески боялся за Веронику, боялся, что жена опять начнёт муссировать тему с её призрачной болезнью?

Я был готов признать, что Вероника привлекала внимание своими болезнями, хотя больше походило, что это Владлена симулировала болезни. Неслучайно же они проявлялись у неё одна

за другой именно в тот год, когда она наладила связи с музыкантками.

Может, Владлена была права в том, что я ни черта не понимал в людях, не различал оттенков блеска в глазах, вообще никакого блеска не замечал, кроме блеска еды и зубов, но Владлена сама не особо смекала, что творилось в голове у нашей дочери. Очевидно же, что Веронике недоставало заботы и похвалы, поэтому она из кожи вон лезла, чтобы обратить на себя взор матери, угодить своей схожестью с ней, а потом уже своей взрослой самостоятельностью. Хотя «самостоятельность болезни» чрезмерно странно звучит, но не карается законом, поэтому приемлема и с высоты родительского одобрения может быть принята.

Вот в чём проблема: я прекрасно понимал Веронику. В детстве я тоже не знал, как и чем выслужиться перед отцом, чтобы удостоиться его похвалы, поэтому с возрастом приобрёл стойкое нездоровое презрение к выслуживанию. Дети — зеркала жизни их родителей. Твоё чадо растёт, а ты вспоминаешь свою жизнь, своё детство, отрочество. Сравниваешь совершенно осознанно, даёшь советы, как лучше поступать, чтобы ребёнок им не следовал и не совершал те же ошибки, что ты. Твои ошибки. Но он обязательно совершает эти ошибки и тем указывает тебе, чего бы ты мог сам избежать в его годы. Замкнутый лабиринт повторяющегося через поколения жизненного опыта.

Нет, самое ужасное, что может быть в тихой спокойной жизни, я усвоил ещё в детстве и зазубрил так же, как свадебную клятву. Самое ужасное — подавить в своём ребёнке детское, сущностное. Раздавить тягу к подвигам и жизнефильству и узнать об этом не постфактум, а постфатум. Это и случилось с моим отцом, когда я наперекор его желанию вырастить из сына профессора-физика ушёл в армию, а потом выбрал военную карьеру, соблазнявшую опасными неучебными действиями.

Что, если и Владлена раздавила у Ники какую-то важную, жизнеподпитывающую жилку? Что-то в этой дилемме не сходилось, и я чувствовал себя ослом, застрявшим на перепутье. Я мог только сказать, что звучание Вероникиного глюкофона мне понравилось гораздо больше, чем виртуозная белиберда, которой Владлена мучила фортепиано и слушателей, приперевшихся на тот концерт.

Я не успел развить новые мысли, вернулась Владлена. По коридору поплыл аромат надменной самоуверенности, сотканный её дорогущим парфюмом. Как всегда, после репетиции она вернулась посвежевшая и отдохнувшая. Даже дружелюбно приветствовала Нику, а та впервые за долгое время вышла встречать мать на пороге и тоже улыбалась. Я не посмел, не позволил себе усомниться, что это начало большого и продолжительного перемирия, закрытие театра военных действий.

И не ошибся, хрен раздери войны и бесправие! Вся следующая неделя прошла спокойно, без ссор, в окружении улыбок, на поле полного взаимопонимания, за столом с колбасно-кофейными завтраками и супно-мясно-картошечными ужинами. Впервые за долгое время я преисполнился спокойствия, как тот лежащий Будда с сытой харей у Ники на подоконнике. Это обычно зовут уютом — чувство тёплое, как парное молоко, приятно обжигающее нутро, чувство, которое я испытывал давно, так что почти забыл о нём.

Но, несмотря на моё барское, кошачье благодущие, так и расправшее изнутри, я уловил кое-какие изменения. Владлена убрала маленькое зеркало с фортепиано, отвернула псише зеркальной частью к углу. Теперь оно напоминало мне меня в мелкие годы, отстаивавшего в углу каждую двойку или затянувшуюся допоздна прогулку с друзьями, сосредотачивавшегося на таланте моей мамы готовить отменные манты, чтобы не думать о мастерстве отца орудовать ремнём по заднице и рукам так, чтобы не остались синяки.

В итоге предложил Владлене перенести псише Нике в комнату, чтобы та в случае чего не бегала глядеться в коридорное зеркало и чтобы псише не томилось узником в углу. Обе были не против. Поставили зеркало напротив компьютера. Моя победа.

Но больше того! Нелюбимое мною трюмо в нашей спальне,

выделявшееся на фоне плазмы и кровати, теперь долго бывало закрыто, жена открывала его, только когда прихорашивалась или готовилась ко сну. В придачу ко всему Владлена перестала пожирать мой мозг относительно того, что я часто смотрел ролики про коллег по оружию, их выступления, сюжеты о жизни высокопоставленных чинов... Она считала, что я скоро совсем свихнусь с моей работой, помешаюсь на почве вождения опасности, что я живу в ненастоящем мире идеальных боевых операций и неопасных преступников, регалий и парадов, смотрю на мир через видеоролики, как через очки. Как по мне, она просто пыталась уверить себя, что у меня нестрашная работа. Но всё равно мерзостно было её выслушивать. Но она и на этой почве угомонилась.

В доме наступили мир и благодать. Хотя бы государство под названием Семья я успешно защищал, славно исполняя долг. На фоне этой утопии я совсем забыл о контрабандном контейнере с линзами, запрятанном за плинтусом, пока не случилось вот что.

Как-то вечером Владлена сидела перед трюмо, а я смотрел очередное сфабрикованное журналистами расследование, порочащее сотрудников органов, якобы не приехавших на срочный вызов. Я был так погружён в видео, что не сразу заметил, как жена яростно размахивала руками и что-то кричала.

Остановил видео, снял наушники.

— Бумба-гразюмба! — резко выругалась по-моцартовски, что она выделявала, когда бывала как-то странно зла, зла на себя, по-моему.

Я стиснул зубы. Если что и раздражало во Владлене, так это щепетильность и патологическая боязнь замараться, даже естественными в рыхлой обыденности матами.

— Что не так? — тихо спросил.

— Линзу не могу вставить! — она всплеснула левой рукой, приблизила лицо к зеркалу на расстояние миллиметра и ткнула в правый глаз указательным пальцем правой руки. — А-а, это невозможно, тырилка-волдырилка!

— Какие ещё линзы, хрен на них свались?

— У меня упало зрение, я плохо вижу! Если ты не заметил, я сегодня ходила к врачу перед репетицией. Я же неделю назад говорила, что записалась к главному. Он посоветовал купить линзы и ещё выписал капли и витамины для поддержания зрения. Это всё на нервной почве, но зрение уже не восстановить до абсолютного, так что с коррекцией опоздали, а чтобы делать серьёзную операцию, нужно иметь не минус одну диоптрию, — по мере своих несдержанных объяснений она всё больше успокаивалась, а потом вновь занялась установкой линз, или как это правильнее сказать?

Я нахмурился. У неё был минус один, значит, она не могла надеть линзы Вероники, та говорила, что у неё минус два, это я



точно помню, как число статей в уголовном кодексе — четыреста сорок четыре.

Меня тыркали противоречия. Как в детстве, сильно зачесался нос, вместилище любопытства. Что, если бы я подменил линзы Владлены на линзы Вероники? Заметила бы жена разницу? Как бы она отреагировала на ответную инвективу в болезни под названием «вниманиефилия»? Я решил, что это непременно надо обстричь, хоть Владлена и прозвенела певуче:

— Всё, хватит! Мой дух сильнее, так вылечусь! А с этой филигранью даже Фаберже не справиться! — и, вспорхнув со стула, вылетела из спальни в зал.

Так выглядит последняя привычная стадия в борьбе с чем-либо, полное неприятие после попытки принятия. Как часто я слышал «дух сильнее тела» или «материя — служанка духа». С последним я готов был согласиться, воспринимая материю родственницей матери, а материнские наветы и запреты победить возможно и нужно всякому и якому, а то...

Однотипные пианинные аккорды завибрировали в воздухе. Это была та самая композиция, которую Владлена играла с оркестром под световое шоу. И как в тот вечер, алый смог сгустился перед глазами в тон тяжёлым низким нотам. Я невольно перенёсся в филармонию. Мир пламенел, изжаривался, как алая, сочная мясная снесь. Если кто спросил

бы, какой у меня любимый цвет, то я, как и в мои восемь, ответил бы: «Родимее красного нет!»

— Потому что мясо?

— Потому что родина, — отбрылся я тогда.

— Это хищник в тебе говорит, — гнула ма.

В желудке заурчало, меня начало мутить, намного ощутимее, сильнее, чем тогда в филармонии. Тыфу, на хрен! И музыку эту, исполненную бреда, и этот бредовый страх. Поддел плитгус, достал контейнер. По дороге в уборную развязал шнурок на штанах. Бросил контейнер в мусорку так, чтобы он лежал поверх бумажно-серого мусора, на лобном месте. Владлена всё ещё наигрывала свою белиберду. Под алые обертонны впервые за неделю опорожнил кишечник. Таким свободным мой дух ещё не был. Стараясь не обращать внимания на музыкальные извращения, расшатывавшие нервы и нарушавшие священную тишину Владлены, вернулся в комнату, залёг в кровать, желая слиться с пледом, уткнулся в экран, надел наушники.

Красная музыка миновала меня. Я выдохнул, подавил рвотный спазм. Сегодня не моя смена утешать Владлену, я это всю жизнь делаю. Хоть бы раз Вероника этим занялась: уже взрослая, должна занять мой пост. Всё-таки главная преграда на пути к карьере и мечте — ...

С потоком видеосюжета унеслись все мысли и все боли.